# 222.

**А. П. Киреевской (Елагиной)**

*<24 мая 1815 г. Петербург>*

Передо мною три Ваших письма, милая моя сестра, и все они написаны разным слогом, но, по счастью, в них одно и то же сердце и одинаковая дружба. В одном говорит со мной мой друг, который не понял меня, огорчился тем, что худо понял и мне пеняет. Думаю, что Вы теперь сами собою разуверились. Например, в нем есть вопрос: «что могли Вам говорить обо мне, чего бы Вы не знали, и каким образом произвольно можно менять в Ваших глазах и характер

человека, и даже всё, что есть доброго и хорошего в жизни? Дружбу, любовь, твердость, доверенность!». Всё письмо длинное есть не иное что, как следствие этого жестокого вопроса и того горького чувства, которое заставило Вас его мне сделать. Мне надобно было бы на него отвечать тотчас — и вот *настоящая моя вина* перед дружбою! Я дал над собою волю петербургской рассеянности, которая грянула на меня, как бомба, и раздробила всё мое время — так что едва ли я и теперь очнулся. Слушайте ж, милая государыня Авдотья Петровна Киреевская. Не будьте и Вы несправедливы! Я, помнится, писал к Вам, что у меня был разговор об Вас с Е<катериною> Афанасьевною1. Признаюсь, я никогда не люблю об Вас говорить с нею. Она Вас любит, но смотрит на Вас совсем не моими глазами. Для нее всё, что делает отличительное в Вашем характере, как будто не

существует. Ту живость души, которую Вы имеете, она смешивает с экзальтациею и ветреностью. Я никогда их не смешивал, по крайней мере с тех пор с этой

стороны не был к Вам несправедлив, как с Вами объяснился. Могу уверить, что с этой минуты ничье мнение на меня не действовало и ни малейшей перемены во мнении на счет Ваш во мне не производило. Если я ссорился с Вами, то всегда по собственному побуждению; чужое же побуждение вооружало меня только за

Вас. Вы сами подали повод к этому разговору. Вы написали к ним об ссоре нашей за С<ергея> М…<ихайловича> С…<оковни>на2. Тетушка, между прочим, говоря

об Вас, сказала, что *Вы мало заботитесь о детях*3. Это поразило меня, потому что я то же часто думал, живучи в Долбине и в Москве, потому что я это хотел Вам

сказать! и Бог знает, отчего не сказал! Я несколько испугался, подумав, что говорю с другими о таком предмете, о котором должен бы был говорить с Вами; хотел об этом написать особенно и поболее; но не написал потому, что был во всё это время в больших и горьких треволнениях. Но об этом писать много не надобно; стоит только просто заметить это и попросить Вас подумать, справедливо ли такое замечание, и если справедливо, то сделать его несправедливым. Теперь прошу ж мне сказать: имеете ли Вы право писать ко мне такую дичь, какою наполнено первое Ваше письмо, полученное мною в Петербурге, и пишут ли такие письма из-за 1000 верст: *верьте чему хотите, отталкивайте меня, как хотите! Je peux me passer de votre amitié, je sais bien que je la mеrite*[[1]](#footnote-2). Милая, могли ли Вы это написать ко мне? Право, как ни любите Вы меня (в этом я уверен), но у Вас есть какое-то весьма дурное мнение насчет моего характера — Вы, кажется, не предполагаете во мне никакого постоянства в чувствах. Passe pour opinion!\*\* Я думаю, что мое мнение насчет людей довольно шатко, — я их не знаю! Но с Вами, но с немногими друзьями моими связывает меня чувство. И можно ли вообразить, чтобы одно слово Воейкова могло выбить из сердца, не говорю уже дружбу, но самую нежную благодарность за раздел всего, что свято в душе и жизни. Прошу уже один раз навсегда думать, что я привязан к Вам на всю жизнь самыми неразрывными узами, — которые по крайней мере устоят против слов, сходящих с языка, без ведома сердца. Я про себя думаю, что они и все другие опыты выдержать способны. Итак, на прочие сладости, находящиеся в этом письме, я отвечать не имею нужды. Вы, верно, и без моей просьбы раскаялись. Впрочем, в этом письме есть и утешительное. *О, святая связь родства!* 4 Так, милая, мы родные во всей силе этого слова! Что мое, то Ваше, и наоборот! Что же к этому прибавишь. Разве только то, что у нас есть общие, милые сокровища, любовь к нашим детям, для которых я рад бы всё на свете сделать, — а они плачут

обо мне в день радости! Меня же они радуют в день горя.

Чтобы дать Вам некоторое понятие о том, что было со мною в Дерпте, посылаю Вам некоторые документы; несколько страниц из Машиного журнала, писанного для Вас5; она отдала их мне с тем, чтобы переслать к Вам, но я их подзадержал, теперь посылаю, с тем, однако, чтобы возвратить мне опять и без замедления, — они мне *нужны*. При этих страницах есть и некоторые мои к ней письма6. То, что в них Вы найдете, извинит нас перед Вами. Вы увидите, что всё писанное можно бы было говорить вслух, когда бы позволили нам быть свободно добрыми; когда бы нам верили, когда бы маску не предпочитали лицу. Но для этих документов нужно объяснение. В Дерпте был генерал Красовский7 — к счастью, был он до меня, и до меня ушел в поход. Надежды, ему данные, испугали меня, и они-то произвели было во мне такую перемену, какой я и ожидать не мог. Я подумал, что по тех пор, пока будут знать, какое чувство привязывает меня к Маше, мне запрещено будет всякое участие в ее судьбе, что перед моими глазами будут ею располагать и что, наконец, она будет жертвою и жертвою кого же? чтобы получить право на это участие, на это родство с нею, на возможность всё делать для ее счастья, надобно было отказаться не только от надежды, но от самого чувства, которое дает привязанность к такой надежде! Решиться на это нужна была одна минута — но минута восхитительная! Прежде, нежели говорить с Е<катериною> Аф<анась ев ною>, я написал об этом два слова к Маше — она сама

согласилась. И знаете ли, на что я решился, — искренно, не для виду, а перед Богом и с тем, чтобы исполнить? Принять весь характер и все обязанности

Машина отца!8 Истребить не только в себе, но и в ней всякое чувство, не согласное с этим характером! И это для того, чтобы вперед уже Воейков не мог мимо меня располагать ее участью, а чтобы ее счастье и спокойствие были под моею защитою. Сначала тетушка приняла это холодно. Это меня оскорбило. Я увидел, что делать было нечего, и решился было уехать. Но подумав, написал ей всё обстоятельно9. И в письме своем сказал ясно: что только в ее семье могу быть братом и не одним только именем, а на деле, то есть отцом ее детей! И это было бы возможно! Много бы счастья спаслось для меня. Это письмо произвело

свое действие, но на короткое время! Воейков при всей наружности дружбы почувствовал, что я, брат его матери, от него совершенно независим! Не могу решительно сказать — но думаю, что это было для него тяжело. Между тем

старая принужденность осталась. Брата боялись, и брат, чтобы сказать Маше то,

что мог бы он ей говорить вслух перед целым светом, должен был потихоньку с нею переписываться! С Воейковым, по своему обыкновенному глупому простодушию, сделался было он совершенно искренен, а Воейков его слова *пересказывал*10. Одним словом, чтобы избежать всех подробностей, которые со временем Вы узнаете, я взял на себя все тяжкие обязанности пожертвования, которые были бы легки и даже сладки при полной доверенности, а они не дали ничего в замену, кроме одной наружности, и между тем получили право всего требовать и во всем обвинять. При таких обстоятельствах можно ли было за себя ручаться — назвавшись братом, надобно было им быть в сердце, а не по одной наружности! А мог ли я им быть один! особливо тогда, когда надобно еще было много с собою бороться. Это было невозможно без поддержания с их стороны, без помощи Машиной, с которой я был разлучен *по-старому*. Итак, чтобы не потерять к себе уважения, я должен был уехать! Но теперь всё *мое* мне возвращено. Я ничем не пожертвовал. Я сказал Е<катерине> А<фанасьевне>,

что братом ее могу быть только с *нею*, но что розно она никакого права на мои чувства не имеет, и что я жертвовал ей всем не потому, что, наконец, догадался, что желаю непозволенного, а для общего счастья и спокойствия. Вот время, в которое я был крайне несчастлив, но в которое мысль о моих друзьях меня радовала. Перед Вами могу сказать без всякого самохвальства: что я готов был на жизнь добродетельную! Виноват ли я, что меня лишили способов и бодрости исполнить то на деле, что сказало мне сердце в лучшую минуту жизни! Так, точно в лучшую! Хотя в эту минуту я отказывался *от всего* совершенно! Чтобы понять это слово *от всего*, надобно Вам знать, что я хотел не только переменить

свою привязанность к Маше на другую, родственную, бескорыстную, но я был даже готов заботиться о том, чтобы она могла, наконец, *другому поверить свое*

*счастье,* — и в этой заботе было для меня что-то прелестное! несмотря на то,

что в иные минуты и возвращалось в душу уныние! я не давал ему воли — ждал шептуна, и шептун мой возвращался с обыкновенным своим лозунгом: *всё в жизни к великому средство*!11 Что ж делать! И это не удалось! Я уехал, не объяснившись, — и к чему объяснения! Меня считают и несправедливым, и неблагодарным (неблагодарным потому, что я не знаю цены Воейкова дружбы и плачу ему за нее холодностью). Я оставил их в этом мнении — на что его переменять? Маша *знает*, что было у меня в душе!! Они сами всё разрушили. Теперь ни меня, ни Маши переменить не может ничто! Чтобы быть вместе душою без упрека совести, нам дóлжно расстаться.

Если мысль, что мы живем друг для друга, не даст счастья, то даст уважение к жизни и твердость. Без меня она будет спокойнее. Никто теперь не будет в ее глазах мне делать оскорбительных несправедливостей; а теперь и я, и она избавлены от опасности нарушить обещанное: нас бы довели неприметно до этого ужасного нарушения, но обвинены были бы одни мы. Тогда бы и последнее уважение к себе Маши должно бы погибнуть. Одним словом, вот я в Петербурге — с совершенным, беззаботным невниманием к будущему. Не хочу об нем думать. Для меня в жизни есть только прошедшее и одна настоящая минута, которою пользоваться для добра, если можно, — *зажигать свой фонарь, не заботясь о тех, которые удастся зажечь после*12. Так нечувствительно дойдешь до той границы, на которой всё неизвестное исчезнет. Оглянешься назад и увидишь светлую дорогу. Но что же Вам сказать о моей петербургской жизни? Она была бы весьма интересна не для меня! Много обольстительного для самолюбия; но мое самолюбие разочаровано — не скажу опытом, но тою привязанностью, которая ничему другому не дает места. Здесь имеют обо мне, как бы сказать, большое мнение. И по сию пору я таскался

с обыкновенною ленью своею по знатностям и величиям. Тому уж с неделю, как был я представлен императрице и великим князьям13. Об этом я сделаю подробное описание на будущей почте Плещеевым14, от которых возьмите мое письмо. Теперь это описание совсем не лезет в голову. После буду писать Вам

с большими историческими подробностями. Но послушайте, милые друзья, — мне писать часто невозможно. Один раз в две недели — и довольно. В Дерпт я пишу каждую почту15; к Плещеевым писать надобно; к Вяземскому также — вообразите, сколько писем; это займет почти всю неделю, то есть каждое утро в недели — а мне надобно работать много. И переводить, и сочинять, и читать. К этому прибавьте огромный петербургский свет. Словом сказать, временем должно экономить, и по сию пору я еще этого экономического расчета сделать не успел. Вообще скажу, что буду от 8 утра до 9 часов всегда дома. Остаток дня на рассеяние (убийственное и крепко осушающее душу). Теперь хочется кончить начатого «Певца»16; потом сделаю издание Муравьева сочинений17; между тем готов план журнала, который надобно будет выдавать с будущего года18; после Муравьева издание своих сочинений19 — всё это, то есть учредить издание журнала, напечатать свои сочинения, выдать Муравьева, надобно здесь! Потом (ибо я не забыл о том, что писал к Вам об опекунстве20, хотя теперь кажется мне, что берусь за невозможное) думаю перетащиться к Вам — *на родину, в семью*; но об этом решительно скажу в конце нынешнего года, которого остаток *необходимо* надобно провести в Петербурге.

1. Я могу обойтись без Вашей дружбы, я хорошо знаю, что ее заслуживаю (*франц.*).  \*\* Сойдет за мнение! (*франц.*). [↑](#footnote-ref-2)